Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

«Губернские очерки»
(«Из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал и издал М. Салтыков. Том третий. М., 1857»)

<Фрагменты>

Прошел с небольшим год с тех пор, как первые «Очерки» г. Щедрина появились в «Русском вестнике» и встречены были восторженным одобрением всей русской публики. До настоящей минуты г. Щедрин не сходит с своей арены и продолжает свою благородную борьбу, не обнаруживая ни малейшего истощения сил. Он печатает рассказ за рассказом, постоянно показывая в них, как велик запас его средств, как неистощим источник его наблюдений. Мало того: к нему постоянно присоединяются новые бойцы, и даже те, которые молчали до сих пор и прятались в толпе беспечных зрителей,— и те, смотря на него и «вящшим жаром возгоря», отважно ринулись на поле бескровной битвы со всемогущим оружием слова. Публика все еще с любопытством следит за зрелищем этих подвигов, а рассказы в *щедринском роде* прежде всего прочитываются в журналах. Но нельзя не видеть, что теперь нет уже ни в публике, ни в литературе прежнего увлечения, прежней горячности и что многие донашивают теперь сочувствие к общественным вопросам, как старомодное платье. <...> Литература как всегда послужила первою выразительницею общественных стремлений, приводя их в ясность и умеряя их силу строгим и обдуманным обсуживанием всех затронутых вопросов. И литература получила, по-видимому, общественное значение: она почти исключительно обратилась к тем вопросам, которыми занято было внимание публики. <...> Поднимается голос против злоупотреблений бюрократии,— и «Губернские очерки» открывают ряд блестящих статей, беспощадно карающих и выводящих на свежую воду все темные проделки мелкого подьячества. Горькие упреки слышались отовсюду, и никто не думал противоречить им. Поэты и прозаики, ученые и дилетанты, теоретики и практики — все бросались

самоотверженно в мрачное болото невежества и злоупотреблений с пламенником обличения. <...>

Борьба во имя высшей правды против мелких интересов времени! — восклицали высокообразованные критики. «С первых лет жизни, при самом начальном воспитании, должно приучать к этой борьбе, которая ожидает в нашем обществе каждого порядочного человека!...» <...>

Так все оживало, все воодушевлялось желанием идти вперед по пути просвещения и нравственного усовершенствования. Два года тому назад человек сторонний, услышавший эти клики, увидавший это движение, непременно подумал бы, что это пробуждение исполина, который после продолжительного сна расправляет свои члены, приводит в порядок свои мысли и готовится искупить свое долгое бездействие подвигами изумительного величия. <...>

Отрадно было то время, время всеобщего увлечения и горячности... Как-то открытее была душа каждого ко всему доброму, как-то светлее смотрело все окружающее. Точно теплым дыханьем весны повеяло на мерзлую, окоченелую землю, и всякое живое существо с радостью принялось вдыхать в себя весенний воздух, всякая грудь дышала широко, и всякая речь понеслась звучно и плавно, точно река, освобожденная ото льда. Славное было время! И как недавно было оно!

Но прошло два года, и хотя ничего особенно важного не случилось в эти годы, но общественные стремления представляются теперь далеко уже не в том виде, как прежде. Много разочарований испытали уже мы на новой дороге, многие надежды оказались пустыми мечтами, много видели мы явлений, способных сбить с толку самого простодушного из оптимистов, вообще отличающихся простодушием. <...>

Разговоры и теперь, конечно, продолжаются, и мы вовсе не хотим сказать, чтоб общественное внимание вовсе забыло о тех вопросах, которые недавно возбуждены были с такой энергией. Мы говорим только, что в деятельности, в жизни общества мало оказывается результатов от всех восторженных разговоров, чем и доказывается, что большинство наших доморощенных прогрессистов играло до сих пор, по выражению г. Щедрина, «не внутренностями, а кожей».

Литература продолжает свое дело добросовестно: служение делу общественного совершенствования она считает своим священнейшим назначением. Она уже навсегда теперь вышла из пеленок, и что бы ни случилось, не получат в ней теперь права гражданства ни швейцарские поздравления с высокоторжественным праздником, ни лакейские оды на пожалование такого-то господина таким-то

чином, ни трактирные дифирамбы в честь какого-нибудь праздника с фейерверком и иллюминацией. Литература деятельно продолжает свои обличения, свои вызовы на все хорошее и благородное... <...>

Но уже нет прежних восторженных отзывов со стороны публики. Она уже утомилась, она уже едва ли не считает свое дело конченным, едва ли не считает себя достойною венка за участие, оказанное общественным вопросам и новым деятелям литературного обличения. <...> Все нетерпеливо ждали, желали, просили улучшений, озлобленно кричали против злоупотреблений, проклинали чужую лень и апатию, но редко-редко кто принимался за настоящее дело. Испуганные воображаемыми трудностями и препятствиями, многие из тех, кто даже мог делать истинно полезное, —

В начале поприща увяли без борьбы[1].

Произошло явление, не слишком возвышенное и даже довольно непредвиденное: русское общество разыграло в некотором роде талантливую натуру. Читатели, конечно, прочли уже «Губернские очерки» и потому, верно, знакомы с некоторыми из талантливых натур, очерченными г. Щедриным. Но не все, может быть, размышляли о сущности этого типа и о значении его в нашем обществе. Поэтому мы решаемся подробнее рассмотреть эти натуры, в которых, по нашему мнению, довольно ярко выражается господствующий характер нашего общества. Виды талантливых натур чрезвычайно разнообразны, но есть у них и нечто общее, состоящее именно в их *талантливости*, которая может иногда вызвать истинное сожаление и навести на очень грустные думы. Положение их, конечно, смешно, даже отвратительно, но насмешку над положением этих господ не нужно переносить на самую натуру их, вовсе не лишенную добрых качеств. Занятия и свойства их г. Щедрин изображает таким образом:

> Одни из них занимаются тем, что ходят в халате по комнате и от нечего делать посвистывают; другие проникаются желчью и делаются губернскими Мефистофелями; третьи барышничают лошадьми или передергивают в карты; четвертые выпивают огромное количество водки; пятые переваривают на досуге свое прошедшее и с горя протестуют против настоящего. Общее у всех этих господ, во-первых, «червяк», во-вторых, то, что «на жизненном пире» для них не случилось места, и, в-третьих, необыкновенная размашистость натуры. Но главное — червяк. Этот глупый червяк причиною тому, что наши Печорины слоняются из угла в угол, не зная, куда приклонить голову; он же познакомил их ближайшим образом с помещиками:

Полежаевым, Сопиковым и Храповицким. К сожалению, я должен сказать, что Печорины водятся исключительно между молодыми людьми. Старый, заиндевевший чиновник или помещик не может сделаться Печориным; он на жизнь смотрит с практической стороны, а на терния или неудобства ее — как на неизбежные и неисправимые. Это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сделались не врагами, а скорее добрыми знакомыми его. Он не вникает в причины вещей, а принимает их так, как они есть, не задаваясь мыслию о том, какими бы они могли быть, если бы... и т. д. Молодой человек, напротив того, начинает уже смутно понимать, что вокруг его есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; он видит себя в странном противоречии со всем окружающим, он хочет протестовать против этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примирения, остается при одном зубоскальстве или псевдотрагическом негодовании.

(«Губ. очерки», т. III, стр. 69 и сл.).

Видите ли, при всей насмешливости отношений г. Щедрина к талантливым натурам, он сам не может не обнаружить, что в основании их лежит нечто хорошее. Их стремления не заключают в себе ничего предосудительного, напротив — стремления эти ставят их действительно выше тех апатических безличностей, которые, смотря на жизнь с практической стороны, находят блаженное успокоение от всех сомнений и вопросов в учительской указке или в подписи того, кто повыше их чином. Вся беда пропавших талантливых натур состоит в том, что у них нет никаких живых начал. Стоит дать им вовремя эти начала, и из них может выйти что-нибудь положительно доброе. Давно уже кто-то заметил, что на свете нет неспособных людей, а есть только *неуместные*; что плохой извозчик и вываленный им из саней плохой чиновник, выгнанный из службы за неспособность,— оба, быть может, не были бы плохими, если бы поменялись своими местами: чиновник, может быть, имеет от природы склонность к управлению лошадьми, а извозчик в состоянии отлично рассуждать о судебных делах... Все горе происходит от их неуместности, в которой опять не виноваты ни чиновник, ни извозчик, а виновата их судьба, эта «глупая индейка», по залихватскому русскому выражению. То же самое происходит со всеми талантливыми натурами: они получают одностороннее развитие, несоответственное их потребностям, и, уступая силе враждебных обстоятельств, попадают на ложную дорогу. Они не столько животны, слабодушны и слепы, чтобы уступить без всякого усилия, в простодушной уверенности, что так должно быть: это их достоинство. Но они не имеют и на-

столько внутренней силы, ума и благородства, чтобы выдержать до конца, чтобы не изменить своим добрым влечениям и не впасть в апатию, фразерство и даже мошенничество: вот их существенный, страшный недостаток. Но этот недостаток, очевидно, не природный. Он происходит от слабости характера, соединенной с пылкостью стремлений. Пылкость стремлений сама по себе — вещь весьма похвальная и притом составляет в человеке не что иное, как простой признак живой молодости, а характер, как все согласны, не родится с человеком, а приобретается им во время воспитания, установляясь окончательно в последующих треволнениях жизни. Следовательно, по строгом рассуждении, на стороне самой личности остается только живая восприимчивость натуры — признак вовсе не дурной, а все остальное ложится на ответственность окружающей ее среды. Нам скажут: отчего же эта среда не оказывает такого же влияния на других, отчего именно на талантливые натуры она действует так гибельно? Ответ прост: эти натуры, по своей впечатлительности, забегают дальше других, часто захватывают больше, чем сколько могут вынести, и при этом чаще, чем другие, встречают противодействия, которым они не в силах противиться. Между тем как дети малые и благонравные наслаждаются спокойствием блаженного неведения, помня, что они дети и, следовательно, должны составлять свой маленький мир, не вступаясь в дела больших,— дети восприимчивые и пылкие суются беспрестанно туда, где их не спрашивают, рано знакомятся с житейскими дрязгами и рано получают от больших практические опровержения своих детских рассуждений. В иных естественная логика и привычка к деятельности берут верх: они рассматривают практические взгляды со всех сторон и оценивают их очень верно: они не падают пред силою обстоятельств, не опускаются до злобного фразерства и циничесой лени — с досады, что ничего великого сделать нельзя, а до конца идут против враждебной силы, и если не успеют ее покорить, то падают, звуком самого падения созывая на труп свой новых самоотверженных деятелей. Но таких крепких людей немного. Большая часть не выдерживает враждебного напора и гибнет нравственно, без пользы и часто даже со вредом и для других. В общественном отношении, разумеется, хвалить их нечего: они всегда являются в обществе или тунеядцами, или мошенниками. От этого мы и не думаем их оправдывать, равно как не думаем возвеличивать их воздействие насчет незаметной деятельности скромных тружеников. Мы только хотим сказать, что в сущности своей талантливые натуры дают больше задатков хорошего развития, нежели благонравные, милые, послушные и т. д.

дети, и что при благоприятных обстоятельствах их развитие принесло бы хорошие плоды. <...>

Если нужно доказать наши слова примерами, то за ними ходить недалеко. У г. Щедрина представлены талантливые натуры трех разрядов: мефистофельская, спившаяся с кругу и пустившаяся в мошенничество. Нельзя не сознаться, что выбор этих трех категорий сам по себе весьма удачен. Неудавшаяся деятельность талантливых натур обыкновенно имеет один из этих исходов. Все они гадки и вредны или по крайней мере бесполезны; но посмотрите на начало жизненного поприща этих господ, вникните в сущность их натуры, и вы увидите, что все их увлечения имеют доброе начало, а падение происходит просто от бессилия противиться внешним влияниям. Отчего такое бессилие происходит, мы уже отчасти объяснили. Прибавим только, что, завися от естественной, каждому предмету в мире присущей инерции, качество это усиливается от постоянной привычки к пассивному восприятию чужих идей и делается тем отвратительнее, чем больше ума и свежих сил в такой пассивной натуре. На человека, не умеющего пяти слов связать со смыслом, не досадно, если он целый век сидит за переписываньем. Да его и не заметишь: он доволен своей судьбою и высоко не заносится, зная, что без крыльев опасно подниматься на воздух... Но человек, легко и быстро понимающий предметы, имеющий живые и высокие стремления, знающий очень хорошо степень собственных сил, такой человек вдруг, поддаваясь лени, отстает от всякого дела и употребляет свои способности только на пересыпанье из пустого в порожнее или на различные непохвальные проделки: это уже досадно и горько. Такого человека сейчас все заметят, потому что он всем надоедает своими жалобами на несправедливость судьбы, ко всем навязывается с пересмеиванием своих ближних, всем кидается в глаза своим сознательным, преднамеренным бездельничеством. Вот, например, перед вами г. Корепанов. Он не потому замечен крутогорским обществом, что тунеядствует и в пустяках всю свою жизнь проводит. Он пуст не больше других: как другие, он служит,— как другие, является на детские балы княжны Анны Львовны,— как другие, ничем особенно не занимается. Словом, в нем ничего нет замечательного, и вы проходите мимо его, бросая на него рассеянный взгляд и думая: «Вот еще один из множества тех, которые прозябают в Крутогорске, серьезно занимаясь деланьем ничего и не имея понятия о других, лучших сферах деятельности...» Но г. Корепанов вдруг останавливает вас восклицанием: «Прошу не смешивать меня с этой толпой; я уверяю

вас, что я гораздо лучше всех их. Не смотрите на то, что я толкусь между ними и так же, как они, ничего не делаю... Поверьте, что я мог бы сделать многое, очень многое, если бы только захотел... Но я не хочу...» — «Тем хуже,— отвечаете вы,— значит, вы, м-сье Корепанов, сами виноваты в своем ничтожестве. На этих людях нечего спрашивать: они делают то, что могут; виноваты ли они, что у них не хватает сил на большее? А вы гораздо хуже их, потому что не делаете и того, что можете. Вы просто дрянь, м-сье Корепанов».— И что же бы вы думали? Корепанов мгновенно с вами соглашается и начинает ругать себя. <...> Вы соглашаетесь, что это, действительно, было бы спокойнее, чем без толку целый век маяться; но Корепанов обнаруживает полное омерзение к деятельности Николая Федорыча, Семена Семеныча и подобных. Он даже детям Семена Семеныча и Николая Федорыча внушает отвращение к воровству и скаредной жизни родителей и гордится своими заслугами в этом отношении. Он называет Крутогорск помойной ямой и очень недоволен тем, что здесь всякий должен бессменно носить однажды накинутую на себя ливрею. По выходкам Корепанова вы видите, что он был в хорошей школе, умеет зло от добра отличить и имеет понятие о настоящей нравственности. Он и сам признается, что в молодости своей умных людей с кафедры слушал, но только ученье не пошло ему впрок. Он, видите, не хотел корпеть над книжкой и клевать по крупице... <...> Если хотите, судьба, точно, несправедлива к нему,— но несправедлива тем, что дала ему родных, которые, с грехом пополам насидевши тунеядцу место, освободили его от необходимости работать самому для приобретения места и хлеба. Не будь этого, Корепанов был бы славным работником и не погиб бы для честной и полезной деятельности, обратившись в Мефистофеля средней руки.

Теперь посмотрим на Лузгина, тоже талантливую натуру, только другого разбора. Положительно дурного в этой натуре ничего нет. Припоминая прежние годы Лузгина, г. Щедрин говорит, что он был тогда безрасчетно добр и великодушен, что в нем сильно кипела кровь, обильна и неистощима была животворная струя молодости. Сам Лузгин в откровенном разговоре высказывает, что у него и в пожилых летах сохранилось еще много любви, горячности, жару. Он сожалеет, что погано провел свою молодость и не столько лекциями, сколько ухарством занимался. В жизни его есть прекрасные явления. Он женился на бедной гувернантке своего соседа, которую притесняли сладострастный хозяин и капризная хозяйка. Он не хотел служить в Петербурге затем, что там «выморозки, что-то холодное, ослизлое»,

бегают целый день, чтоб иметь счастие искривить рот в улыбку при виде нужного лица. <...> Лузгин всячески старается всю вину сложить на природу, хотя он, собственно говоря, и не думает себя оправдывать. Напротив, он, как и все талантливые натуры, безбоязненно и бесстыдно распространяется о своих недостатках, уверяя, что он свинья, что он опустился, что он гнусен с верхнего волоска головы до ногтей ног. Но все это самообвинение мало помогает. Подняться он уже не в силах: я, говорит, до такой степени привык к праздности, так въелся в нее, что даже уж и думать ни о чем не хочется. При всем том он не хочет принять на себя ответственности за все. Чувствуя, что не в силах подняться, он старается увериться, что так уж судьбой решено, что иначе и быть не может, что так, видно, «и суждено этому огню перегореть в груди, не высказавшись ни в чем». И в этой уверенности принимается с отчаяния за чарочку, чтоб утопить в вине свои досадные порывы. А потом жалуется на природу весьма комическим образом: «Для чего,— говорит,— она не сделала меня Зеноном, а наградила наклонностями сибарита? Для чего она не закалила мое сердце для борьбы с терниями суровой действительности, а, напротив того, размягчила его и сделала способным откликаться только на доброе и прекрасное?.. Природа-то ведь дура, выходит...» Какая же тут природа, г. Лузгин? Природа всех людей решительно выпускает на божий свет слабыми и беспомощными: никого она не калит и не мягчит нарочно, в том соображении, что вот этот господин должен будет бороться, а тот — нет, так, в видах предусмотрительности, надобно дать им такие-то и такие-то свойства. Это вы все для оправдания своей лени выдумываете, что природа как-то неприязненно к вам расположена и по каким-то интригам вздумала вас размягчить. Ничего подобного не бывало: закаляются люди не на лоне природы, а в горниле житейской опытности. А этой-то закалки и нет у вас, потому что вам не случилось надобности с самого начала преодолеть вашу лень, и вы позволили другим за вас думать и действовать. В результате и вышло, что хоть у вас сердце доброе, хоть оно и откликается на все прекрасное, а сами-то вы вышли человек не только плохой, но и пошлый, даже грязный. Так скажем мы Лузгину, не желая поощрять его лени и цинизма. Но, обращаясь к читателям, мы, разумеется, не можем не прибавить, что действительно судьба была довольно жестока к Лузгину. Его вывели из непосредственной простоты и патриархальности деревенских отношений, дали некоторое понятие о предметах высших, но не дали основательных и твердых начал, не заинтересовали даже наукой хоть бы до такой степени, чтобы предпочитать ее разным ухарским

развлечениям. <...> А там судьба позаботилась приготовить родимое гнездо, в котором можно жить на чужой счет... Вот и погиб человек, из которого при других обстоятельствах могло бы и выйти что-нибудь.

Есть еще особого рода талантливые натуры, по-видимому совершенно не похожие на два образца, которые нами рассмотрены, но, в сущности, чрезвычайно к ним близкие. Образчик таких натур представляет Горехвастов, описанный г. Щедриным. Этот с первого раза может показаться, пожалуй, очень деятельным. Он прожектер, мошенник, шулер; он и в официальное платье переодевался, и казенные деньги крал, и заставлял кое-кого в окно прыгать, и сам из оного прыгивал, и фортуну себе умел составить, и потерять оную. Кажется, чего больше деятельности — энергической, постоянной, только дурно направленной. Это уж, кажется, не слабая натура, носившая в себе задатки добра, но погибшая только вследствие своей лени и слабости; это сильная, злодейская душа, талантливая только на мерзости всякого рода. Он совсем непохож на двух малодушных, только что нами виденных у г. Щедрина. Так кажется с первого взгляда. Но если всмотреться пристальнее, то найдется, что и Горехвастов, в сущности, решительно то же самое, что Корепанов и Лузгин. Разница между ними только в том, что те двое все-таки учились чему-нибудь и, при всей поверхности своего образования, усвоили некоторые наиболее простые внушения, как, например, что кража постыдна, шулерство гнусно и т. п.; Горехвастову же и этого не внушили, а учили его иметь только приятные манеры и *causer** обо всем. Как натура талантливая, он поддался этому направлению, и манеры его, действительно, казались хороши и *causeur*** вышел из него отличный. Товарищи его ездили к француженкам по воскресеньям, и он ездил, потому что не в силах был противиться искушению, не имея никакой внутренней опоры, точно так, как и Лузгин с Корепановым. Петр Бурков сводит его с людьми, которых карьера и назначение жизни ограничивается не совсем честными подвигами на зеленом поле, и он подвизается вместе с ними; затевают эти люди штуку en grand***, чтобы купца надуть, и он является ревностным исполнителем проекта; говорит ему Петр Бурков о жизни en artistes****,— он и en artistes жить соглашается; зовет его по ярмаркам ездить,— он и на это готов. Иногда как будто добрые

* Болтать (*фр.*).— *Ред.*

** Собеседник (*фр.*).— *Ред.*

*** На широкую ногу (*фр.*).— *Ред.*

**** Как художники (*фр.*).— *Ред.*

инстинкты в нем просыпаются: ему, например, неловко становится продать себя безобразной барыне, которая задумала воспользоваться его атлетическими формами. Но Бурков сказал ему, что это вздор, велел ему решиться во имя прав дружбы,— и Горехвастов решился.

Скажите, на что же еще слабодушнее человека? Он гораздо слабее Лузгина и Корепанова, потому что еще менее, чем они, имеет внутренних убеждений: он решительно не может противиться окружающим влияниям, не может даже уклониться от них в бездействие, а прямо им подчиняется... А там уж он идет дальше, по силе инерции, и даже нередко выказывает наружную твердость и храбрость, приличную обстоятельствам. Только эта энергия и твердость походят на храбрость лакея, который громогласно кричит с крыльца: «Подавай!», а потом тотчас же подобострастно усаживает барина в карету и смиренно стоит перед ним, если тому вздумается намылить ему шею. Храбрость Горехвастова мгновенно исчезает, он трясется и бледнеет, как только увидит где-нибудь около себя *кавалера* или другую полицейскую власть, или даже просто в чужом обществе получит «подлеца» с любезным обещанием выбросить его из окна. Бессилие противиться внешним влияниям обнаруживается в нем на каждом шагу еще более, чем в Корепанове и Лузгине.

Лень, отвращение от труда тоже составляет одну из существенных сторон его характера, несмотря на видимую неутомимую деятельность. Он не хотел служить и сделался мошенником именно потому, что не хотел «сидеть каждый день семь часов в какой-то душной конуре, облизываясь на место помощника столоначальника». Он чувствует, что «стоит выше общего уровня», что может быть и поэтом, и литератором, и прожектером, и капиталистом. Но ему непременно хочется получить как можно больше без всякого труда, и он избирает шулерство как легчайшее средство обогащения. Разорившись, он живет в четвертом этаже, на манер артиста, и тут всего более нравится ему полная беспечность, которой он может предаваться. Ему тошно смотреть даже на своего соседа Дремилова, только потому, что этот сидит все за книжкой. Негодование разыгрывается в нем при одном воспоминании о таком труженичестве. «Ну, что это за жизнь, спрашиваю я вас,— восклицает он,— и может ли, имеет ли человек право отдавать себя в жертву геморрою? И чего наконец он достигнет?» и т. д. Горехвастову мало быть практически лентяем: он старается свою лень возвести в теорию. Он даже положительно выражается, что «гениальная натура науки не требует, потому что до всего собственным умом доходит. Спросите, например, меня... Ну, о чем хотите!.. На все ответ дам, потому что это у меня русское, врожденное». Как

видите, и этот господин, подобно Лузгину не прочь бы свалить свою пустоту на природу, на врожденность. Но в его словах и рассказах нельзя не видеть крайнего развития лености, далеко превосходящей естественное и всякому человеку дозволительное влечение к покою.

Однако он играет, мошенничает, прожектирует — могут возразить нам. Для этого тоже нужно много деятельности. Горехвастов работал и умом, и руками, и ногами, и всеми членами тела для приобретения фортуны. Он целые ночи проводил без сна, опасностям подвергался, странствовал по ярмаркам, путешествовал через окна из второго этажа на улицу. Как хотите, а к этому не способна натура пассивная, ленивая, находящая высшее блаженство в апатическом бездействии.— Все это кажется очень справедливым при первом взгляде. Но при некотором внимании нетрудно сообразить, что и деятельность Горехвастова — совершенно пассивная, вынуждаемая обстоятельствами чисто внешними. Почти всегда он действует по чужой указке, ведомой другими мошенниками, почти всегда следует неуклонно тому направлению, на которое его толкнули. Пожалуй, если хотите, и он не совсем без дела. Но разве тогда можно найти на свете хоть одного человека бездельного? Тот бегает целый день около бильярда, другой сидит за шахматами, третий глубокомысленно курит сигару. <...> Но что это за движение, к чему оно стремится, какая сила его производит,— вот на что нужно обращать внимание при оценке человеческой деятельности. И камень бросить, так он полетит, и даже если его искусно направить на воду, то — кружки на ней произведет. И если воду вскипятить, то она так разбушуется, что и через край пойдет; но затем разольется по полу и простынет тотчас,— только лужа останется. Подобными вспышками ограничивается и деятельность пропавших талантливых натур. Внутреннее влечение к деятельности им уже сделалось непонятно; сознательно и постоянно преследовать свою цель — у них не хватает терпения и твердости. На один порыв, и даже сильный,— их еще станет, потому что они вообще, по слабости своих внутренних сил, склонны увлекаться внешними впечатлениями, но одна неудача, одно препятствие, которого нельзя удалить сразу,— и энергия оставляет их, и природная лень берет свое. Все они являются деятельными представителями того взгляда на вещи, который высказывает Горехвастов таким образом:

> Я, Николай Иванович, патриот, я люблю русского человека за то, что он не задумывается долго. Другой вот, немец или француз, над всякою вещью остановится, даже смотреть на него тошно, точно

родить желает, а наш брат только подошел, глазами вскинул, руками развел: «Этого-то не одолеть? — говорит: — Да с нами крестная сила! Да мы только глазом мигнем!» И действительно, как почнет топором рубить, только щепки летят; гениальная, можно сказать, натура! без науки все науки прошел!.. Люблю я, знаете, иногда посмотреть на нашего мужичка, как он там действует: лежит, кажется, целый день на боку, да зато уж как примется, так у него словно горит в руках дело, откуда что берется!

Вместе с слабодушием и леностью Горехвастов имеет и другие второстепенные признаки талантливых натур. Он с удивительною откровенностью рассказывает свои подвиги и при этом энергически ругает себя, превосходя в этом случае Корепанова и Лузгина настолько, насколько натура его размашистее их натур. <...> На деятельность же Горехвастова все подобные вспышки не оказывают ни малейшего влияния. В то самое время, как он декламирует о своем недостоинстве, его арестуют за кражу казенных денег женщиною, с которой он находился в «непозволительной» связи. Прожив свою молодость, этот господин до того изленился, что уже и украсть сам не хочет, а заставляет свою любовницу.

Оставим теперь в стороне талантливых приятелей г. Щедрина и поставим вопрос в более отвлеченном виде, чтобы не задевать никаких личностей. По нашему мнению, в обществе молодом, не успевшем еще основательно переработать всех своих взглядов и мнений, не успевшем, по причине неблагоприятных обстоятельств, развить в себе самоопределяемости к действию (говоря по-ученому), непременно являются два главные разряда членов. Одни — вполне пассивные, безличные и крайне ограниченные как в своих способностях, так и в потребностях. Эти — смирны; они не волнуются, не сомневаются и не только не выходят из своей колеи, но даже не подозревают, что можно из нее выйти. В ученье, в службе, в жизни — они всегда *исправны;* что им прикажут, то они сделают, что дадут выучить, выучат, до каких границ позволят дойти, до тех и дойдут. <...> Убеждений и принципов нет для этих людей; для них существуют только правила и формы. В деятельности их есть что-то похожее на медвежью пляску для выгоды хозяина и для потехи праздного народа; в разговорах же своих они напоминают попугая, который на все ваши вопросы отвечает одно заученное слово и часто совершенно невпопад говорит вам «дурак» за все ваши ласки. Некоторые, впрочем, и этим утешаются: интересно, дескать, что птица говорит точно человек.

Другую половину молодого общества составляют именно те люди, которых называют «современными героями», «провинциальными Печориными», «уездными Гамлетами», наконец, «талантливыми натурами». Последнее название, может быть, менее других соответствует мысли, которую мы хотим высказать, но — дело не в названии. Натуры тут, конечно, не много, а более действуют обстоятельства житейские, состоящие, во-первых, в отношениях времени. Печоринские замашки и претензии на талантливость натуры являются всегда, как уже заметил г. Щедрин, в молодом поколении, обладающем сравнительно большею свежестью сил, более живою восприимчивостью чувств. Подвергаясь разнообразным влияниям, молодые люди находятся в необходимости сделать наконец выбор между ними. Начинается внутренняя работа, которая в иных исключительных личностях продолжается безостановочно, идет живо и самостоятельно, с строгим разграничением внутренних органически естественных побуждений от внешних влияний, действующих более или менее насильственно. Но подобные личности представляют исключение, тем более редкое, чем ниже стоит образованность всего общества. Самая же большая часть людей, начинающих работать мыслью в обществе малообразованном, оказывается слабою и негодною, чтобы устоять против ожидающих их препятствий. С самого появления своего на белый свет, в самые первые впечатлительные годы жизни люди нового поколения окружены все-таки средою, которая не мыслит, не движется нравственно, о мысли всякого рода думает как о дьявольском наваждении и бессознательно практически гнет и ломает волю ребенка. Это второе обстоятельство — противодействие начального воспитания и всей окружающей среды идеям времени, которому уже принадлежит новое поколение,— и приводит к падению бóльшую часть талантливых натур. Возникли у них кое-какие требования, которым прежняя среда и прежняя жизнь не удовлетворяют: надобно искать удовлетворения в другом месте. Но для этого надо много продолжительных усилий, надо долго плыть против течения. Между тем корабль давно уже стоит на мели и балласт грузно лежит внизу. Талантливые натуры, заметив, что все около них движется,— и волны бегут, и суда плывут мимо,— рвутся и сами куда-нибудь; но снять корабль с мели и повернуть по-своему они не в силах, уплыть одни далеко от своих — боятся: море неведомое, а пловцы они плохие. Напрасно кто-нибудь, более их искусный и неустрашимый, переплывший на противный берег, кричит им оттуда, указывая путь спасения: плохие пловцы боятся броситься в волны и ограничиваются тем, что проклинают свое

малодушие, свое положение, и иногда, заглядевшись на бегущую мимо струю или ободренные криком, вылетевшим из капитанского рупора, вдруг воображают, что корабль их бежит, и восторженно восклицают: «Пошел, пошел, двинулся!» Но скоро они сами убеждаются в оптическом обмане и опять начинают проклинать или погружаются в апатичное бездействие, забывая простую истину, что им придется умереть на мели, если они сами не позаботятся снять с нее корабль и прежде всего хоть помочь капитану и его матросам выбросить балласт, мешающий кораблю подняться.

Какой из этих двух разрядов лучше, конечно, не затруднится сказать никто. В настоящем они *оба хуже* и горе тому обществу, которое долго остановится на этих двух категориях и в котором не будет с года на год увеличиваться число спасительных исключений. Отсутствие всякой самостоятельности, ленивая апатия и увлечение внешностью составляют существенные признаки как талантливых натур, так и людей, принадлежащих к общественному балласту, хотя и не во всех находятся эти качества в одинаковой степени. Следовательно, и тот и другой сорт людей — не большая находка для общества, которое хочет жизни и деятельности сознательной и самобытной. Лучшая из талантливых натур не пойдет дальше теоретического понимания того, что нужно, и громкого крика, когда он не слишком опасен. В случае же обстоятельств неблагоприятных они или заговорят двусмысленно, или и совсем противно своим убеждениям. Самые отважные замолчат и свое молчание будут считать геройством. «Мы, дескать, мученики своих убеждений: все говорят против совести и получают от этого выгоду; и мы могли бы тоже получить выгоду, проповедуя чужие мысли, которых не разделяем; но мы не хотим кривить душою и молчим, затаив в себе собственное, самобытно сочиненное воззрение до того времени, когда можно будет его высказать без опасений». Таким образом и водворяется в обществе невозмутимейшая тишина, полнейшая неподвижность, возмущаемая только разве дебоширствами талантливых натур, посягающих на безопасность смиренных граждан.

Но у молодого, еще не совсем развитого общества есть будущее. И для этого будущего второй разряд людей, т. е. люди с размашистыми натурами дают все-таки несравненно больше хороших надежд, чем убитые существа без всяких стремлений. Они по крайней мере не будут иметь такого парализующего влияния на деятельность следующих за ними поколений, потому что в них есть уже хоть смутное предчувствие истины, хоть робкое, слабое оправдание молодых порывов. Лузгин уже не смеет высечь своих детей за то, что они

уличают его во лжи; Корепанов безбоязненно внушает крутогорскому молодому поколению «отвращение к тем мерзостям, в которых закоренели их милые родители». Рудин (тоже талантливая натура) имел более благотворное влияние на молодого студента Басистова, чем все его профессора вместе. В талантливых натурах есть хоть слабые зачатки деятельности, хоть желание перевертывать на разные манеры то, что им передано другими; в натурах бесполезных, безличных нет даже мысли о том, что нужно и можно действовать самому; пассивное восприятие внешних внушений не только не возбуждает их к деятельности, но даже еще более усыпляет и успокаивает в том процессе механического передвижения, который они называют жизнью и деятельностью... Винить этих несчастных тружеников было бы несправедливо уже и потому, что у них нет своей воли, нет своей мысли, следовательно им и отвечать не за что. Но нельзя не жалеть об их положении, нельзя не желать, чтобы все уменьшалось в человечестве число подобных людей, напрасно носящих образ человеческий.

Обращаясь теперь к началу нашей статьи, мы намерены предложить читателям вопрос: не состоит ли и большинство нашего общества из членов двух названных нами категорий? Не составляют ли исключения у нас люди, соединяющие с правдивостью и возвышенностью стремлений честную и неутомимую деятельность? Вероятно, каждый из читателей может насчитать в числе своих знакомых десятки людей, которым, кажется, сроду не приходило в голову ни одного вопроса, не касавшегося их собственной кожи, и десятки других, бесплодно тратящих всю жизнь в вопросах и сомнениях, не пытаясь разрешить своей деятельностью ни одного из них, и изменяющих на деле даже тем решениям, которые ими сделаны в теории. Сколько мы видим людей, унижающихся перед теми, кого они внутренне презирают, смеющихся над тем, чего боятся, делающих то, чего гадость они очень хорошо знают, говорящих то, чему сами не верят, и т. п. Отчего происходит все это? Оттого же, отчего погибают талантливые натуры,— от недостаточного развития внутренней силы, необходимой, чтобы устоять против внешних влияний. <...>

Наше общество еще очень молодо в отношении к европейской цивилизации, и потому нечего удивляться, что огромное большинство его относится к науке и мысли чисто страдательно. Между этим большинством есть мирные люди, отличающиеся изумительной способностью легко переваривать все противоречия, проистекающие из смещения новых понятий, вносимых жизнью, с старыми привычками, приобретенными в детстве. Есть и талантливые натуры разных

сортов, шумно дающие знать о своем бездействии и переваривающие на досуге свое прошедшее, протестуя против настоящего. Они-то обыкновенно и толкуют о высшей своей русской породе, которой достоинства определяют на манер Горехвастова: «Гениальная, дескать, натура у русского человека: без науки все науки прошел!..» И действительно,— продолжим мы речь Горехвастова, соображая некоторые явления нашей общественной жизни,— «как почнет топором рубить,— только щепки летят... Лежит, кажется, целый день на боку, да зато уж как примется». «В полтора века Европу мы догнали, да и перегнали»,— восклицают у нас, вторя Горехвастову, многие талантливые натуры. «Да помилуйте, мы уже восемь веков назад были далеко впереди от Европы,— возражают другие,— мы всегда были не то, что прочие люди; мы давно уже без науки все науки прошли, потому что гениальная натура науки не требует: это уж у нас у всех русское, врожденное».

К сожалению, все это — слова, слова, не имеющие внутреннего смысла. Самые толки о необыкновенно быстром росте нашем оказываются красноречивым тропом. От древней Руси довольно осталось нам наивно рассказанных фактов кормления и проделок подьячества. Сто лет тому назад Сумароков приобрел благодарность современников за успешное преследование «крапивного семени». За шестьдесят лет до нашего времени, по поводу комедии Капниста, журналы предсказывали искоренение взяточничества[2]. Не дальше как в прошлом году сам господин Щедрин похоронил прошлые времена[3]. Но вот опять все покойники оказались живехоньки и зычным голосом отозвались в третьей части «Очерков» и в других литературных произведениях последнего времени. Доказывает ли это, что мы очень выросли в нравственном и умственном отношении? Не напоминает ли это, напротив, Горехвастова, трагически декламирующего о своей гадости и подлости, с вырыванием собственных волос приносящего раскаяние и в то же время затевающего новое воровство?.. «До чего же вы наконец договорились,— возражают нам практические люди,— вы сами сознаетесь наконец в бессилии вашего хваленого рода литературы? К чему же привели все эти отвратительные картины, грязные сцены, пошлые и подлые характеры? К чему привело все это раскрытие общественных ран, которое вы всегда так превозносили? Выходит, что от ваших литературных обличений никакого толку нет, да и быть не может. Поверьте, что исправники и становые ваших рассуждений и очерков читать не станут, а если и прочтут, так только вас же ругнут: хорошо, мол, им сочинять-то у безделья, а тут на шее столько обязанностей висит, что только дай Бог вынести. И поверьте, что

сознание своих обязанностей в отношении к желудку, семейству, начальству и пр. будет в человеке гораздо сильнее, чем убеждения всех ваших книжек. Напрасно только литература унижает себя, опускаясь из светлых высот фантазии в омут грязной действительности. Она должна приносить чистые жертвы на алтарь муз, а вместо того жрецы ее берутся за метлу. Вы рождены для вдохновенья, для звуков *сладких* и молитв[4], зачем же вы пускаетесь в житейские волнения, зачем преследуете какие-то цели, достижение которых вас, кажется, очень интересует? Искусство целей вне себя допускать не должно. Иначе оно искажается, профанируется, низводится на степень ремесла, и все это без малейшей пользы для общества, единственно затем, чтобы дать исход желчи какого-нибудь господина[5]. Оставьте лучше этот род: он не приводит ни к чему хорошему. Вековой опыт должен убедить вас в этой непреложной истине. Изображайте нам лучше чувства возвышенные, натуры благородные, лица идеальные. Дайте нам образцы доброго и изящного, которыми мы могли бы восхищаться, на которых душа наша могла бы отдохнуть и успокоиться от треволнений и сердечных зрелищ жизненного поприща. Пишите об искусстве, о предметах, повергающих сердце в сладостное умиление или благоговейный восторг, описывайте, наконец, красы природы, неба... Тогда ваша литература будет исполнять свое прямое назначение — служение искусству и, следовательно, будет полезна, приятна и, главное, — художественна». В словах практических людей звучит ожесточение беспощадное. Они давно уже косятся на это направление, которое насолило их теории да не оставило-таки задеть немножко и практику. <...>

Отчего же и не позабыться, если хотите, особенно если это только на минуту? Но при врожденной талантливым натурам лени они любят забываться надолго, даже навсегда, если можно. Они готовы в своей дремоте от всего сердца проклясть «правды глас», если он вдруг разрушит их сладостные мечтания. Многие эстетически обученные талантливые натуры сильно желают этого забытья, чтобы блаженствовать в покое. Но признаемся, мы никогда не понимали «блаженства безумия» и еще менее понимаем, зачем люди хотят сделать искусство служителем этого безумия. Вам не хочется смотреть на гадость и пошлость жизни; да литература-то что же за штопальщица, что вы хотите заставить её зашивать кое-как прорехи вашего изношенного наряда? Вы знаете, что человек не в состоянии сам от себя ни одной песчинки выдумать, которой бы не существовало на свете; хорошее или дурное — все равно берется из природы и действительной жизни. Когда же художник более подчиняется заранее

предположенной цели,— тогда ли, когда в своих произведениях выражает истину окружающих его явлений, без утайки и без прикрас, или тогда, когда нарочно старается выбрать одно возвышенное, идеальное, согласное с опрятными инстинктами эстетической теории? И чем же искусство более возвышается,— описанием ли журчанья ручейков и изложением отношений дола к пригорку или представлением течения жизни человеческой и столкновения различных начал, различных интересов общественных? Вам угодно называть служителей общественного направления подметателями всякого сора. Пусть так; мы против этого не станем спорить; мы даже выскажем вам нашу искреннюю благодарность и удивление к вашей эстетической мудрости... <...>

А что литературные обличения не производят практически благотворных результатов или производят их весьма мало,— так кто же опять виноват в этом? Неужели опять вы скажете, что литература? Да на нее и без того вы же сами возводите обвинения в излишней резкости, вмешательстве не в свои дела и пр. Она действует так сильно, как только может, а вы недовольны ее действиями и хотите их прекратить, потому что они слабы! Гораздо последовательнее было бы с вашей стороны, если бы вы сказали, что надобно поэтому усилить тон литературных обличений для легчайшего достижения практических результатов. Тогда бы мы с вами и спорить не стали, хотя все-таки не решились бы обещать слишком заметного успеха в улучшении нравов посредством литературы. Литература в нашей жизни не составляет такой преобладающей силы, которой бы все подчинялось; она служит выражением понятий и стремлений образованного меньшинства и доступна только меньшинству; влияние ее на остальную массу — только посредственное, и оно распространяется весьма медленно. Да и по самому существу своему литература не составляет понудительной силы, отнимающей физическую или нравственную возможность поступать противозаконно. Она не любит насилия и принуждения, а любит спокойное, беспристрастное и беспрепятственное рассуждение. Она поставляет вопросы, со всех сторон их рассматривает, сообщает факты, возбуждает мысль и чувство в человеке, но не присваивает себе какой-то исполнительной власти, которой вы от нее требуете. <...>

Впрочем, подумавши хорошенько, мы убеждаемся, что серьезно защищать г. Щедрина и его направление совершенно не стоит. Все отрицание г. Щедрина относится к ничтожному меньшинству нашего народа, которое будет все ничтожнее с распространением народной образованности. А упреки, делаемые г. Щедрину, раздаются только

в отдаленных, едва заметных кружках этого меньшинства. В массе же народа имя г. Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произносимо с уважением и благодарностью: он любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых или неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках. Их-то защищает он от разного рода талантливых натур и бесталанных скромников, к ним-то относится он без всякого отрицания. В «Богомольцах» его великолепен контраст между простодушной верой, живыми, свежими чувствами простолюдинов и надменной пустотой генеральши Дарьи Михайловны или гадостным фанфаронством откупщика Хрептюгина. И неужели это будет отрицание народного достоинства, нелюбовь к родине, если благородный человек расскажет, как благочестивый народ разгоняют от святых икон, которым он искренне верует и поклоняется, для того, чтобы очистить место для генеральши Дарьи Михайловны, небрежно говорящей, что c'est joli*; или как полуграмотный писарь глумится над простодушной верой старика, уверяя, что «простой человек, окроме как своего невежества, натурального естества ни в жизнь произойти не в силах»; или как у истомленных, умирающих от жажды странниц отнимают ото рта воду, чтобы поставить серебряный самовар Ивана Онуфрича Хрептюгина. Нет, отрицательное направление принадлежит именно тем людям, которые обижаются подобными рассказами и безумно отрекаются от своей родины, ставя себя на место народа. <...>

Сочувствие к неиспорченному, простому классу народа, как и ко всему свежему, здоровому в России, выражается у г. Щедрина чрезвычайно живо. Мы думаем, что самый эстетический, самый восторженный человек может отдохнуть на общей картине богомольцев и странников, ожидающих на соборной площади появления святых икон. Тут нет сентиментальничанья и ложной идеализации; народ является как есть, с своими недостатками, грубостью, неразвитостью. Тут и горе, и бедность, и лохмотья, и голод являются на сцену, тут и песни о том, что пришло время антихристово, потому что

Власы, бороды стали брити,
Латынскую одежду носити... [6]

Но эти бедные, невежественные странники, эти суеверные крестьянки возбуждают в нас не насмешку, не отвращение, а жалость и сочувствие. Становится грустно, как послушаешь толки женщин

* Это красиво (*фр.*). — *Ред.*

о предстоящем им переселении по-за Пермь, в сибирские страны. Жалко старого места, жалко родительские могилки оставить, но что делать? Житье-то плохое на старом месте: земля — тундра да болотина, семья большая, кормиться нечем и подати взять неоткуда. А в сибирской стороне, говорят, и хлеб родится, и скотина живет... Вздыхают собеседницы, и разговор, по-видимому, стихает. Но,— продолжает г. Щедрин,—

Этой боли сердечной, этой нужде сосущей, которую мы равнодушно называем именем ежедневных, будничных явлений, никогда нет скончания. Они бесконечно зреют в сердце бедного труженика, выражаясь в жалобах, всегда однообразных и всегда бесплодных, но тем не менее повторяющихся беспрерывно, потому что человеку невозможно не стонать, если стон, совершенно созревший без всяких с его стороны усилий, вылетает из груди.

— Так-то вот, брат,— говорит пожилой и очень смирный с виду мужичок, встретившись на площади с своим односельянином: — Так-то вот, и Матюшу в некруты сдали!

В загорелых и огрубевших чертах лица его является почти незаметное судорожное движение, в голосе слышится дрожание, и обыкновенный сдержанный вздох вырывается из груди.

— А добрый парень был,— продолжает мужичок,— как есть на свете муха, и той не обидел, робил непрекословно, да и в некруты непрекословно пошел, даже голосу не подал, как «лоб» сказали!

Воображению моему вдруг представляется этот славный, смирный парень Матюша, не то чтобы веселый, а скорее боязный, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой, бодрого и сильного, несмотря на капли пота, струящиеся с его загорелого лица; вижу его дома, безропотно исполняющего всякую домашнюю нужду; вижу в церкви божией, стоящего скромно и истово знаменающегося крестным знамением;, вижу его поздним вечером, засыпающего сном невинным после тяжкой дневной работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я старика отца и старуху мать, которые радуются не нарадуются на ненаглядное детище; вижу урну с свернутыми в ней жеребьями, слышу слова: «лоб», «лоб», «лоб»...

— Что ж, помолиться, что ли, ты пришел, дядя Иван? — спрашивает у мужичка его собеседник.

— Да, вот к угоднику... Помиловал бы он его, наш батюшка! — отвечает старик прерывающимся голосом.— Никакого то есть даже изъяну в нем не нашли, в Матюше-то; тело-то, слышь, белое-разбелое, да крепко таково...

И вся эта толпа пришла сюда с чистым сердцем, храня во всей ее непорочности душевную лепту, которую она обещала повергнуть к пре-

честному и достохвальному образу божьего угодника. Прислушиваясь к ее говору, я сам начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимого стремления к душевному подвигу, которое так просто и так естественно объясняется всеми жизненными обстоятельствами, оцепляющими незатейливое существование простого человека.

(Т. III, стр. 152–154)

Мы остановимся здесь, под влиянием этого трогательного чувства. Заметим только, в заключение, как ровно, беспорывно, но зато как беззаветно, просто и открыто выражается глубокое чувство, глубокая вера этого народа, и выражается не в восклицаниях, а на деле. Это не то, что фразёры, о которых говорили мы в начале статьи. Толками тех господ нечего увлекаться, на них нечего надеяться: их станет только на фразу, а внутри существа их господствует лень и апатия. Не такова эта живая, свежая масса: она не любит много говорить, не щеголяет своими страданиями и печалями и часто даже сама их не понимает хорошенько. Но уж зато, если поймет что-нибудь этот «мір», толковый и дельный, если скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово, и сделает он, что обещал. На него можно надеяться.